

НЕМЦЫ В ПРОЗЕ ПУШКИНА

Был ли Германн только лишь расчетлив?

Ключевая НГ (прил. к Независимой газете) — 1999 — № 4 — с. 5



«ГЕРМАНН немец: он расчетлив, вот и все!» — эти слова из «Пиковой дамы» обнаруживают не только общий русский стереотип немца; даже представление самого Пушкина выражается, кажется, в них. Во всяком случае, этот холодный и расчетливый человек Германн, который ищет счастья в богатстве и который, достигая своей цели, готов обмануть молодую девушку и убить старуху, стал олицетворением немца в русской литературе. К такой роли его предназначила как семантика его имени, так и интертекстуальный намек. В рассказе Бальзака «Красная гостиная» (1831) мы читаем: «Его звали Германном, как зовут почти всех немцев, выводимых писателями». Прозаический, жадный к деньгам немец Германн не раз противопоставляется таинственному Сен-Жермену, которого отличает любезность, щедрость и бескорыстность, на что уже указывает его фамилия «Святой Германн».

СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПОДРЫВ

Пушкинский Германн, по всей очевидности, вхоливший Гоголя на создание своего Шиллера. Этот «жестяных дел мастер в Мещанской улице» представлен рассказчиком «Невского проспекта» такими словами: «Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения <...> Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба <...>. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз».

В научной литературе пушкинский Германн также рассматривался как воплощение немецкости. Еще в 1945 году Юлия Сазонова указывала на то, что Пушкин в принципе был чужд осуждения людей, которые «имели несчастье» быть немцами, но когда приходилось создавать художественный образ немца, он подсознательно придавал ему те самые черты, которые он теоретически отрицал, — неприязнь к России и к русским, равнодушие ко всем людям, себялюбие, корыстолюбие и скудность. Все эти черты Сазонова находит как раз в Германне.

Некоторое время сомневаясь, можно ли верить анекдоту Томского, Германн наконец принимает чисто немецкое решение: «Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!». Но можно ли верить словам Германна? Во-первых, Германн оказывается «расчетливым» только в переносном, характерологическом смысле этого слова. Над его «излишней бережливостью» товарищи имеют причину посмеяться лишь «редко». Во-вторых, с «умеренностью» противоборствует его «необузданное воображение», о котором свидетельствует рассказчик. А как можно серьезно относиться к его «трудолюбию», если он до пяти утра сидит у игроков и смотрит на их игру?

Формула, которой Германн обосновывает свое воздержание от игры: «рассчитал (!), что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», — также опровергается действительным его поведением. Он живет «одним жалованьем», не касаясь процентов отцовского наследства, не говоря уже о капитале. Но когда он в полночь ждет графиню, чтобы выведать ее тайну, сердце его бьется «ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое». Следовательно, «необходимым» является для него не отцовский капитал, который он в первой игре ставит на одну карту, а что-то другое. Потому, по всей вероятности, он, хотя и называется «расчетливым» и сам полагается на «расчет» как одну из своих верных карт, все-

таки даже не думает о том, чтобы приобрести богатство в игре при помощи расчета, т.е. математического вычисления верных карт. Воздержанность его тем удивительнее, что литература того времени изобиловала игроками, стремящимися к счастью путем вычисления выигрышных чисел или карт. Так, в романе Карла Гойна «Голландский купец», одним из немецких претекстов повести Пушкина, математический расчет дает «тройку» и «семерку» как выигрышные карты игры.

Конечно, Пушкин относится к немцам всегда с легкой иронией, улыбается, глядя на их оторванность от жизни, на их увлеченность чистой теорией. Достаточно вспомнить, как автор «Евгения Онегина» иронизирует над геттингенской душой Владимира Ленского. Ирония ошутима также там, где Пушкин намекает на немецкие претексты. «Станционный смотритель» является ироническим контрафактом одноименной новеллы немецко-русского эпигона сентиментализма Вильгельма Карлгофа — контрафактом, который переворачивает нравоучительную идиллию с ног на голову. Герой Карлгофа, обедневший купеческий сын, учившийся в Геттингене, женится на своей возлюбленной Лизе вопреки отчаянному сопротивлению ее отца и увозит девушку из Петербурга на деревенскую почтовую станцию. Молодой человек становится смотрителем, и любящие друг друга муж и жена ведут скромную, но счастливую жизнь в окружении многочисленных детей. Должно быть, молодые герои Пушкина, Дуня и Минский, на полпути от станции Самсона Вырина в Петербург повстречались с парой Карлгофа. Ироническое отношение Пушкина к немецко-русскому претексту явствует из незначительной детали: удивительно богатая библиотека на станции карлгофского смотрителя, содержащая сочинения Карамзина, Жуковского, Шиллера, Гете, Мендельсона и Гердера, редуцирована в новелле Пушкина к «немецким стихам» под четырьмя картинками о блудном сыне.

Однако иронические портреты немцев и ироническое отношение к немецким претекстам в нашем контексте менее интересны, чем сюжетная роль, которую играют немцы в некоторых повестях Пушкина. Здесь видно, как Пушкин, критик устойчивых представлений и шаблонов, подрывает и национальные стереотипы.

В «Станционном смотрителе» немецкий лекарь играет роковую роль в жизни Самсона Вырина. Если относиться к истории Дуни как к истории «заблудшей овечки», как это делает Вырин, или как к истории блудной дочери, не возвращающейся домой, как это делает иной толкователь, то немецкий лекарь предстает посредником несчастья. Однако если допустить, что блудным является не ребенок, а сам отец, что Дуня должна была оставить отца и его станцию ради своего счастья и что она, как сообщает ямщик, ехала с Минским «по своей охоте», то сюжетная функция немецкого врача выглядит совсем по-другому и значительно сложнее.

Не менее значительную сюжетную роль, играет «землемер Шмит в усах и шпорах» в «Метели». Он — один из трех мужчин, которые не только соглашаются быть свидетелями тайного венчания Владимира, но «даже клянутся» ему в готовности жертвовать для

него жизни». В итоге, разумеется, они обесчечить успеха шекотливой затее Владимира не смогли. Из рассказа Бурмина явствует, что как раз эти свидетели звали его к церкви, крича «Сюда! сюда!», и что именно они сделали его проказу возможной. Жертвовать жизнью им, конечно, не понадобилось, но как исполнили они свою обязанность дружбы? «Трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею», как будто семнадцатилетней понадобилась поддержка четырех людей. Эта чрезмерная готовность помочь объясняет ошибку свидетелей. И когда жестокая шутка Бурмина обнаруживается, свидетели устремляют на него «испуганные глаза» — те глаза, которые были обращены слишком исключительно на прекрасную невесту.

Итак, в «Метели» в несчастье героев также виновен отчасти немец, но и здесь кажущееся несчастье принимает в конечном счете хороший поворот — по крайней мере для Марьи Гавриловны и Бурмина. Из-за своей ошибки и невыполнения своих обязанностей свидетели способствовали венчанию тех героев, которые предназначены друг для друга.

В «Гробовщике» немецкость безбидных ремесленников, живущих у Никитских ворот, играет немаловажную роль. Сапожник Готлиб Шульц отвечает на вопрос Адрияна Прохорова «Каково торгует ваша милость?» словами: «Э-хе-хе <...> и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет!» Веселый немец употребляет русскую поговорку, но, говоря

лит и говорит о мертвецах, как о живых, живущих в изготовленных им гробах, как в домах. Этим объясняется и абсурдная вывеска над воротами нового дома: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные, также отдаются напрокат и починяются старые». Прохоров предлагает гробы точно тем же образом, как предлагает он свой старый дом, прибывая к воротам объявление: «продается и отдается в наем».

В новом доме — желтом, как лица мертвых, — он живет, как в гробу. Если немецкий сапожник поневоле обнаруживает абсурдное мышление русского гробовщика, то центральное событие новеллы — приглашение православных мертвецов к новоселью — вызвано смехом немецких ремесленников, собравшихся на серебряной свадьбе Шульцев. Почему немцы смеются? В последнее время этому смеху исследователи придавали глубокий смысл, затрагивающий различия между культурами и вероисповеданиями. Один из национально-христиански настроенных толкователей даже рассматривает смех немцев как знак западного отрицания жизни после смерти. Однако текст не дает повода видеть в честных немецких ремесленниках, живущих у Никитских ворот, представителей Просвещения, вольтеррианцев, носителей западного безверия или презрения к потустороннему миру. Ни в коем случае немецкие ремесленники не высмеивают профессию своего русского коллеги, как считает или хочет считать гробовщик Прохоров!

Немцы смеются просто потому, что чужо-нец Юрко, подвыпивший будочник, предло-

нимает всерьез, а смех немцев. Почему бы ему и не выпить за здоровье тех, которые живут в своих гробах-домах? Что тут смешного? Смех немцев в конечном счете является причиной абсурдного приглашения «православных мертвецов», спуска гробовщика в царство скелетов. Но в то же время этот смех является условием его спасения, т.е. возвращения к жизни и к живым, обозначающегося финальным чаепитием с дочерьми, которых Прохоров до сих пор только бранил и журил.

КОЕ-ЧТО О БИНАРНОСТИ «ФАРАОНА»

Мы обнаружили, что необходимым для Германна является не отцовский капитал. Но что же для него так «опасно и необходимо»? Расчетливый инженер доверяет не расчету, а чуду. Отмахиваясь от анекдота Томского, как от сказки, он все же полагается на логику сказки: его привлекает тайна трех карт. Здесь возникает вопрос, кто же Германн — представитель романтической Германии, второй Ленский, мещанин со слабостью к сказочному, обыватель, мечтающий о чудесном? Будучи далеко не прозаическим техником, Германн благодаря «огненному воображению» становится писателем. Как нежный и страстный сочинитель писем, он нуждается в чужом воображении и чужом языке только вначале. Он даже выдумывает целый роман, будучи «очень занятым своей интригой».

В спальне графини Германн выступает красноречивым соблазнителем. Сначала он умоляет старуху на языке сентиментальных и романтических дискурсов, взывая к ее «чувствам супруги, любовницы, матери», потом прибегает к литературному мотиву «дьявольского договора» и, наконец, переключившись на язык религии, обещает ей, что не только он, но и его дети, внуки и правнуки «благодарят» [ее] память и будут [ее] чтить как святую. Видение, в котором графиня открывает ему свою тайну, свидетельствует опять о сильном воображении героя, и только одна деталь — прозаическое шарканье призрака туфлями — обнаруживает некую неуверенность его стиля. Таким образом, инженер Германн все более и более становится писателем-фантасмом. Он даже записывает свое видение и предстает как пишущий духовидец, второй Сведенборг, карьеру которого он как бы повторяет. Сведенборг начал как естествоиспытатель, был военным инженером и стал мистиком, видящим духов.

Германн предстает как противоречивый характер. Его двойственность опять-таки соответствует литературному клише, образцы которого можно найти в немецкой литературе. Германн, «сын обрусевшего немца», и кажется, будто живет, по словам Гете, «две души в его груди». Томский «набрасывает портрет» Германна, намекая на литературу того времени: «Этот Германн <...> лишь истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля». В нем иногда разлад в стиле Гофмана — между расчетом и воображением, холодностью и страстностью, твердостью и заблуждением.

Двойственность его личности усиливается и аллюзиями на немецкие романы — Германн обладает некоторым знанием немецкой литературы. Но, очевидно, он не слишком внимательно читал некоторые из претекстов, на которые у Пушкина есть намеки, — это шведская повесть в письмах Класа Ливийна «Пиковая дама» (1824) или немецкий перевод ее, сделанный писателем-романтиком Фридрихом де Ламотт-Фуке «Пиковая дама. Сообщение из дома умалишенных в письмах» (1826). Отсюда пушкинский герой мог бы извлечь урок: ставка на даму, какой бы надежной она ни казалась, может иметь роковые последствия.

Подобно героям Ливийна и Ламотт-Фуке, пушкинский игрок сходит с ума и доставляется в сумасшедший дом. В этой связи небезынтересна и повесть Гофмана «Счастье игрока» (1819), по-видимому, вдохновляющая Германна на мечты о «беспредельном выигрыше». Однако повесть Гофмана содержит трезвую мысль: счастье игрока, каким бы блестящим оно ни казалось, в конечном счете губит и самого разумного человека.

С другой стороны, есть в тексте множество

мотивов, подвергающих двойственную романтическую природу Германна сомнению. Удовольствуемся четырьмя из них. Во-первых, готический портрет Германна как раздвоенного характера, набросанный Томским, сразу релятивизируется рассказчиком: «Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня».

Во-вторых, природа Германна кажется иногда сравнимой с характером Жюльена Сореля из «Красного и черного». В таком интертекстуальном восприятии характер Германна сводится к одной лишь прозаической черте — это жадность к деньгам, для получения которых любовь, игра и тайна служат только средствами.

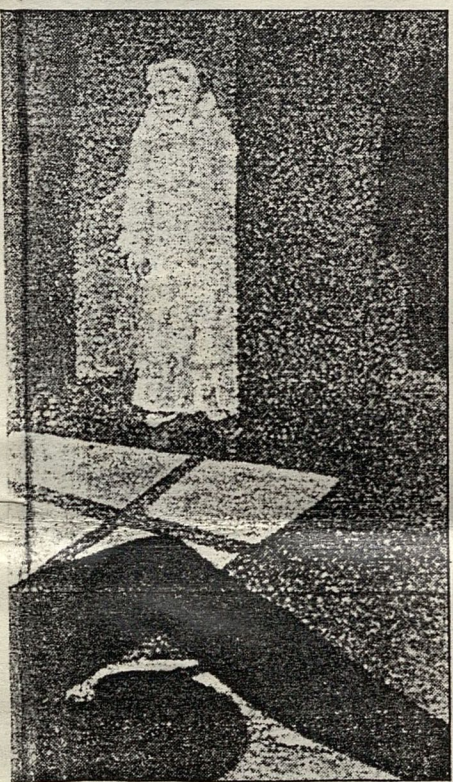
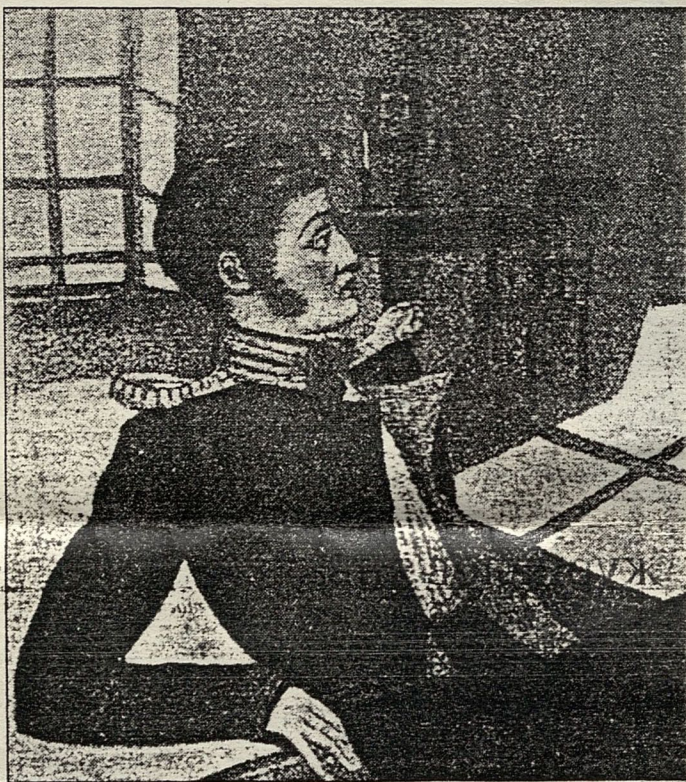
В-третьих, в повести «Счастье игрока» Гофман различает два рода игроков: одному «игра сама по себе, независимо от выигрыша, доставляет странное неземное наслаждение». Другого «привлекает только выигрыш, игра как средство разбогатеть». И Германн, как иногда кажется, относится ко второму роду.

В-четвертых, рассуждая метапоэтически, можно исходить из того, что Пушкин, иронически разоблачивший в «Выстреле» и в «Гробовщике» романтическую раздвоенность характера, во время второй Болдинской осени вряд ли мог бы всерьез допускать романтически-загадочный контраст внутри характера. (А честолобивый мещанин типа стэндалевского Сореля, стремящийся в большой свет, был в это время уже слишком неоригинальным литературным типом, чтобы Германн с ним мог совершенно слиться.)

Итак, окончательная, завершающая характеристика Германна вряд ли возможна. Образ этого героя колеблется между двумя полюсами — готически-романтической раздвоенностью, с одной стороны, и плоским, расчетливым, жадным характером — с другой. Эта оциллиция соответствует колебанию текста между магической фантастичностью и психологическим реализмом. Пушкин тщательно соединяет признаки реалистичности и фантастичности, заставляя читателя постоянно колебаться между этими исключаящими друг друга мотивировочными системами. Онтологическая характеристика текста отражает бинарность «фараона», где банкомат раскладывает карты поочередно на правую и левую стороны и все участники смотрят попеременно направо и налево. И колебание между двумя сторонами, двумя возможностями структуры характера соответствует движению игры «фараон». Господство колебания, бинарности, нерешенности подчеркивается и последними словами героя: Германн, сидящий в

Обуховской больнице, «не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, туз!..»

Вопрос о немецкости Германна должен остаться без однозначного ответа. Слова «Германн немец: он расчетлив, вот и все!» — это слова не автора, а нетерпеливого Томского, старающегося как можно скорее рассказать свой анекдот. Нивая жалобе осторожно понтирующего и все-таки вечно проигрывающего Сурина и общему удивлению по поводу неиграющего игрока Германна, Томский старается перешагнуть предыдущие парадоксы еще более удивительным парадоксом, т.е. историей о своей бабушке, которая не понтирует. Национальный стереотип, употребленный Томским, — ловушка для читателя. Стереотип не опровергается сюжетом, а подрывается как таковой колебанием между двумя противоположными возможностями.



Германн и призрак графини. Рисунок Василия Шухаева. 1923 год.

«тем русским наречием, которое мы доньше без смеха слышать не можем», он несколько искажает клише: «Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не обойдется». Очевидно, сам того не подозревая, немецкий сапожник придает русской поговорке оттенок абсурда. Прохоров же, очевидно, не замечает нелепости, а усиливает ее: «Сущая правда <...> одна-ко ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогнавшись, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». По вариантам можно проследить, насколько сознательно и тщательно у Пушкина выписан абсурд этих слов. А это весьма значительно для сюжета, потому что нелепые обороты немецкого сапожника, усиливаемые русским гробовщиком, обнажают скрытый абсурд, в который превращает Прохоров истинный парадокс своего ремесла — он живет за счет смерти своих клиентов. Русский гробовщик мыс-

жил сидящему рядом с ним гробовщику произнести, следуя примеру русских ремесленников, тост за своих клиентов: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Как раньше трезвый Шульц, пьяный Юрко сопрягает жизнь и смерть в оксюморонную связь, обнажая парадокс прохоровской профессии, и смех немцев — не что иное, как внезапная реакция на обнаженный парадокс. Но этот смех задевает большое место гробовщика, задевает его буквально за живое. В смехе над парадоксальной шуткой Юрки гробовщику слышится сомнение в живости его мертвецов. Конечно, ни шутящий Юрко, ни смеющиеся немцы этого даже не подозревают — им ведь незнаком ход мысли их русского соседа. Итак, смеющиеся немцы корлеблют онтологические основы мышления гробовщика. Подчеркнем: Прохорова расстраивает не шутка Юрки, которую он воспри-

Вольф Шмид — научный ассистент Мюнхенского университета, доцент русской литературы в Утрехте (Нидерланды), профессор русской литературы в Ольденбурге, профессор славистики Гамбургского университета. Председатель жюри Пушкинской премии, член жюри русского Букера.

См. на эту тему также: Михаил Шишкин. «Национальный характер: миф или реальность?» — НГ от 06.04.94.

